

Часть первая

Я верую полной верой в приход
Мессии, и хотя он медлит, я буду
ждать каждый день, что он придет.

Маймонид.

13 принципов веры

— Доброе утро, дорогие радиослушатели! Радиостанция «Русский голос» начинает свои передачи из шестой иерусалимской студии. Сегодня девятнадцатое марта, вторник, по еврейскому летоисчислению — каф зайн месяца адара, пять тысяч семьсот пятьдесят пятого года. Прослушайте сводку новостей, с которой вас познакомит Алона Шахар.

— Пятеро солдат убиты и четверо ранены в результате вчерашних столкновений с террористами из отряда «Хизбалла» на границе с Ливаном. Боевики «Хизбаллы» привели в действие взрывное устройство, когда наши солдаты патрулировали...

1

— А между тем Машиах придет в две тысячи седьмом году! — Сема закурил и, спохватившись, стал ковшиком ладони предупредительно гонять дым перед носом собеседницы. — И я это с детства знал.

— Да? — вежливо заметила она, размешивая ложечкой сахар в кофе.

Буквально минут за пятнадцать до того они закончили писать в студии радиопередачу на тему «Литературная Родина». Сема, ведущий передачи, спрашивал ее, редактора литературного приложения од-

8 ной из русских газет, — возможно ли, по ее мнению, дальнейшее развитие русской литературы в условиях Ближнего Востока. И она абсолютно серьезно отвечала, хотя за выступление не платили, как и за многое другое. Да если б и платили? Смешно, копейки... Нет, это она из дружеского расположения к Семе согласилась прийти и, рискуя репутацией приличного человека, нести в эфире тошнотворную ахиною: да, она считает, что... уникальная культурная ситуация... благодаря массовой репатриации, в нашем государстве образовалась концентрация творческих сил... влияние на дальнейший расцвет...

Какой расцвет?! Расцвет — чего?! Дайте спокойно умереть... Впрочем, Семины литературные передачи шли на Россию, а значит, их никто не слушал.

Под конец, перечисляя авторов своего литературного еженедельника, она увлеклась и разогрелась настолько, что даже прочитала несколько строк стихотворения Вали Ромельга. Словом, забыла — где и зачем находится.

— Ну что ж, впечатляет! — суетливо перебил ее в конце строки Сема Бампер, глядя на часы и пальцем рисуя в воздухе круг. — Итак, напоследок буквально два слова: ваши планы?

— Планы? — переспросила она. Своими идиотскими кругами перед носом Сема сбил ее с настроения. К тому же о планах публикаций на ближайшие номера она уже говорила.

— Ну да. В глобальном смысле.

И опять судорожные круги в воздухе, обеими руками: закругляйся, мать! В глобальном смысле, подумала она, эту передачу никто не услышит.

— В глобальном смысле, — гордо и даже торжественно сказала она в микрофон, — мы и впредь на-

мерены выплачивать авторам небольшой, но твердый гонорар.

Сема подавился заранее приготовленной репликой, должной завершить эту кругленькую передачу.

— Ну, гонорар! — воскликнул он бодро. — Это не главное в творчестве, а лишь незначительное производное.

— К сожалению, незначительное, — поспешно согласилась она. — Зато мы с моим коллегой, графиком Витей, вот уже пятый год получаем приличное жалованье. Разве это не победа над хаосом эмиграции?

Сема округлил глаза, замахал руками и выключил микрофон.

— Вырежу! — пообещал он. — Оборву на стихах Ромельга и пушу Дюка Эллингтона... Хороша, нечего сказать! Гонорар, жалованье, деньги... Старуха, ну нельзя же так... приземленно смотреть на высокое.

— По поводу высокого, — сказала она, вздохнув, — мы чуть ли не единственные, кто платит авторам в этой е... ной русской прессе...

Потом они спустились в местный буфет — большую, вполне уютную комнату на первом этаже, с панелями, незатейливо обшитыми формайкой, — и взяли по чашечке кофе.

Ей вообще-то хотелось пива, но неудобно было обременять Сему — он угощал. Порядочки: за выступление авторам они не платят, но могут оплатить такси и — как стопарь водки грузчику после работы — свести после передачи в буфет.

Сема, как и многие, заблуждался по поводу ее пристрастий — она бы сейчас выпила пива. А может, и граммов пятьдесят коньяка — перед тем, что ей еще сегодня предстояло.

К тому же он вдруг затеял этот идиотский разговор о Машиахе, и она побоялась опять выглядеть слишком приземленной со своей просьбой о пиве.

— А я попробую задержать на год его пришествие! — лукаво и победно закончил он, раскачиваясь на задних ножках стула.

— Зачем? — осторожно спросила она. То, что евреи екнулись на пришествии Мессии (по-здешнему Машиаха), она, конечно, знала и раньше. Но то поголовное, повсеместное, профессиональное ожидание Мессии (ожидание, с вокзальным, справедливо добавить, оттенком), с каким она столкнулась в этой стране, поначалу ее даже обескуражило. К счастью, она сразу поняла, что Ожидание является здесь образом жизни, основным ее содержанием, а она свято относилась ко всему, что составляло основное содержание жизни любого человека.

А тут еще две тысячи лет... С застарелыми болями вообще следует обходиться осторожно, и никаких резких движений...

Сема подался вперед, хлопнувшись на все четыре ножки стула.

— Понимаешь, мне по гороскопу положена в скором будущем одна величайшая международная премия в области изобразительного искусства. Мне ее сперва получить надо, а потом уж... Вообще же Машиах... — Сема остро глянул на нее из-под колючей брови, и она вовремя сделала преданное лицо, все-таки он угощал. — С этим, видишь ли, не все так просто... Ведь Машиахом могут стать некоторые из нас, пути не заказаны. В конце концов, в еврейской традиции, то есть в источнике, Машиах — вполне телесный, реальный человек, полный сил и радости. В ТАНАХе сказано: «Говорил Давид: буду веселиться

я пред Господом». А еще сказано: «И Давид плясал изо всех сил пред Господом; а опоясан был Давид льняным эйфодом». Так что вот, живешь ты, живешь... и вдруг ощущаешь в себе концентрацию неких мощных сил... Так что опрощать не стоит... Ибо Машиах — это... — Он пристально и многозначительно рассматривал столбик пепла на сигарете.

— Это ты? — кротко догадалась его собеседница. Сема запнулся, внимательно поглядел на нее, что-то прикидывая в уме, и наконец проговорил:

— Помолчим пока об этом...

Он проводил ее до проходной, очень складно разместившейся в этом доме старой арабской кладки. Изнутри все было перестроено и модернизировано: автоматически раздвигающиеся двери, зеркала, стойка с телефонами, за которой сидели солдаты — двое парней и девушка.

Они громко над чем-то смеялись и, смеясь, машинально отдали ей паспорт, который она час назад сдала, получая пропуск на студию...

— Ты куда — домой? — спросил Сема, домашнему оправляя на ней воротник плаща. — А мне еще экскурсию вести.

— Ты водишь экскурсии? — удивилась она, хотя давно дала себе слово не удивляться ничему в этой стране, и в частности Семе Бамперу.

— Да я бы с удовольствием послал на фиг всех туристов, но видишь ли, — Сема улыбнулся застенчивой улыбкой, — моя слава ведущего русского экскурсовода бежит впереди меня...

Она представила себе Семину славу, трясущую впереди него в образе собаки, на бегу выкусывающей блоху. И как Сема поспекает за этой своей славой, то и дело подавая ей ногой под хвост.

12 Сема Бампер давно уже поражал ее жизнерадостной доброжелательностью ко всем, широтой души и абсолютной незлобивостью. А ведь в молодости Сема был боксером, подумала она. Бил морды, надо полагать. И ему били... До известной степени Сема оставался для нее загадкой.

— А кого ты сегодня водишь? — спросила она.

— Одну миллиардершу-магометанку из Набережных Челнов и ее рабыню-христианку, — сказал Сема. — Раскидаю их по святыням, и будь здоров...

Нет, прочь, прочь отсюда, пока бедный разум вмещает хоть какое-то подобие реальности... Миллиардерша-магометанка. Причем из Набережных Челнов. И ее рабыня, значит. Христианка.

— Рада была повидать тебя, — сказала она и пошла вверх по узкой и крутой улице Королевы Елены, по которой всегда боялась ходить в сумерках. Улочка была не из приятных: слева тянулся забор столетней каменной кладки, справа зияли мусорные подворотни — эта улица спускалась к старому и неудобному району Мусрара, граничащему с Восточным Иерусалимом.

Ничего, спокойно: отсюда метров сто до освещенного перекрестка, до пригласительно светящихся полуарочных окон курдского ресторана «Годовалая сука». Иди ровно, дыши легко и не оборачивайся на подозрительные шаги за спиной... Да, а в «Годовалой суке» подают великолепный «марак-кубэ», острый суп, в котором плавает большой жареный пирожок... И недорого, шекелей семнадцать...

Сзади шелкнул затвор оружия.

Шея!!!

Она рывком — как всегда, нелепо, жалко дернувшись, — оглянулась.

За нею неторопливо трусил старичок с пуделем, пощелкивая кнопкой переключения длины ремня на ободке поводка. Мирный старикан, очаровательный пудель. Человек прогуливает своего пса, идиотка ты старая...

Не вернусь сегодня, решила она. Чтоб мне провалиться, — именно сегодня ехать нельзя!

На остановке она позвонила домой из телефона-автомата. Взял трубку муж.

— Я не вернусь сегодня, — сказала она.

— А когда-нибудь вернешься? — спросил он, как обычно, по отношению к ней — насмешливо-меланхолично. Он был человеком сильных страстей и ради нее когда-то в одночасье пустил по ветру всю свою прошлую жизнь.

— Когда-нибудь вернусь. Ты уложил Мелочь?

— Да спит, спит...

— А Кондратику температуру мерил?

— Не волнуйся, он даже немного поел... — Мелочь — была семилетняя дочь, вымученный поздний ребенок. Кондратик — годовалый тибетский терьер, единственная радость сердца, внимательный собеседник и душа-человек...

— Зяма! — сказал вдруг муж, и она задержала трубку. — Вы мне нравитесь! Вы — неброская женщина, но мне вы подходите. Кто у меня остался, кроме вы!

Она засмеялась и повесила трубку.

Успела вскочить на подножку автобуса. Завтра семичасовым ехать на работу в Тель-Авив и действительно разумнее переночевать у родителей.

Они снимали квартиру в двух минутах ходьбы от автобусной станции.

Это мужское имя она получила в честь деда Зямы, Зиновия Соломоновича, старого хулигана, остроумца, бабника и выпивохи, комиссара и гешефтмахера, — коротышки дьявольского обаяния.

Его невестка, родив вместо ожидаемого сына недоношенную девочку, все-таки упрямо назвала ее Зиновией — к ужасу и возмущенным воплям всей еврейской родни.

У евреев запрещено называть новорожденного в честь еще живущего человека. Считается, что этим ты как бы намекаешь живому, что ему уже есть какая-никакая замена поновее и он может быть свободен от занимаемого на земле места.

Если вдуматься, так это действительно некорректно. Что ей — мало было имен, тем более женских — легких, звучных, раскатистых: Регина, например, Маргарита, Вероника...

Но мать была упряма, молода, по отцу вообще была русской (а у тех, наоборот, принято называть детей в честь вполне еще полнокровных людей). На еврейские обычаи и заведенные давным-давно привычки мать смотрела со снисходительным спокойствием. К тому же она боготворила деда. Впрочем, как и все женщины, когда-либо его окружавшие.

Поначалу в семье пробовали называть девочку Зиной (Зиночка, Зинуля). Но она уродилась такой копией деда, особенно в раннем детстве — до карикатурного сходства: щеки свисали на плечи, крепкие толстые ножки проворно семенили вразвалочку, круглые зеленые глаза так лукаво и пристально разглядывали этот мир, что домашние сдались. Она была Зямой, урожденной Зямой, и ничего тут уже не поделаешь.

И так, под обиженные причитания еврейских тек и дядьев, прожили они — Зяма и Зяма — во взаимном обожании целых девятнадцать лет, до того дня, вернее, утра, когда дед не проснулся, не открыл глаз, не вставил новенькую дорогую челюсть, не крикнул на всю квартиру: «Мамэлэ, иди послушай этот сон, ты лопнешь со смеху!»

Он умер во сне мгновенной легкой смертью праведника, с вечера... — да, по-видимому, без этой детали не обойтись, — с вечера вымыв ноги.

Вот это «с вечера вымыв ноги» упоминалось в родне непременно, когда заходила речь о смерти деда Зямы, словно в этом немудреном действии заключен был некий мистический смысл очищения от праха земной юдоли, а возможно, и от конкретных земных грехов краснобандитской его юности, с ее боями, погромами и пьянством, с его знаменитыми комиссарскими сапогами.

Дед умер во сне, с вечера вымыв ноги.

Понятно, что на этом могли заикнуться тетя Бася, Фира или дядя Исаак, ну даже отец — куда ни шло. Но Зяма-то, Зяма! — к тому времени студентка второго курса консерватории, — при чем тут это предсмертное омовение ног?!

Нет, и много лет спустя, рассказывая о смерти деда, заранее дав себе слово обойтись без уточнения никому не интересных обстоятельств, она говорила светло и просто:

«Деда умер во сне, как праведник... — и, чувствуя, как некая смысловая сила, подобная тугой струе воздуха, втягивающей соринку в хобот пылесоса, тащит ее к завершению фразы, — покорно и тихо заканчивала: — ...с вечера вымыв ноги...»

16 Дед умер в разгар ее первого романа, о котором знал только он, он один («ай, мамэлэ, брось, он не стоит твоих вдохновенных соплей! Не подойдет этот — возьмем другого»).

К тому времени Зяма переросла деда на целую голову, возможно, благодаря своей невероятной шее.

С этой шеей хлопот было немало: высокая поднялась шейка, с характерным прогибом, — девочку с детства затащали по врачам. Мать волновалась: не зоб ли это намечается? Записывались в очередь к светилам эндокринологии, сдавали анализы. Пока наконец пожилая женщина, врач, профессор Сарра Михайловна Крупская (визит пятьдесят рублей) не сказала:

— Оставьте вы ребенка в покое. Это именно то, что в сказках зовется «лебединой шеей».

Позже, когда вполне уже выросла — к десятому классу, Зяма научилась своей шеей пользоваться, когда это было нужно: черная бархотка, кованный, грузинской искусной работы ошейник, кружевной высокий воротничок, и над этим — очень короткая (не заслонять же такую шею!) стрижка...

Все это были сильнодействующие средства.

Нет, не собираюсь я описывать ее внешность. Да и что еще не описано? Все описано. Возьмите лоб: высокий, низкий, покатый, скошенный и т. д. Это — что касается формы. Фактура: гладкий, бугристый, чистый, прыщавый, обветренный и пр. Цвет: бледный, смуглый, желтый, красный, синий, коричневый... да практически все цвета и оттенки. Ну, вот еще — пятнистый, если вам угодно. Состояние: вспотевший, холодный, горячий, остывший... Да смотрите, в конце концов, «Словарь эпитетов»!

Нет, все описано. Даже мочки ушей. Даже корни волос. Нет нужды напрягаться.

Но вот эта шея — трогательной красоты и стати, и ладно посаженная на ней аккуратная головка... нет, ничего особенного — короткий темный шатен и расхожий набор черт лица, выточенных и пригнанных природой ловко и с явной симпатией, — вот и вся Зяма, не считая, конечно, всего остального — в юности тонкого, узкого, незамечаемо легкого, как змейка, к сорока годам же...

Кстати, о возрасте.

Зяма, как и всякий российский интеллигент, страдала раздвоением личности. То есть она не очень и страдала, просто жила каждую минуту с разных точек зрения. Поворачивала эту данную минуту и так и сяк, рассматривала ее под разным освещением. С одной стороны, конечно... но с другой стороны...

Возьмем такую несомненную определенность, как возраст. Человек рождается, и так далее. Соответственно, каждый год ему исполняется столько-то и столько-то. И наконец исполняется ему сорок. Это с одной стороны.

С другой стороны, Зяма твердо помнила, что ей четырнадцать лет (известно, что каждый человек застревает на каком-то своем, присущем его психике, нервам и мироощущению возрасте).

Недавно, к примеру, побывала Зяма у врача.

Специалист, быстроглазый хмурый мужчина со скиперской бородкой, минут пятнадцать деловито занимался Зяминой, вполне заурядной, грудью — где-то поприжал, где-то пробежал пальцами, как по клавиатуре, помял под мышками, заставлял поднимать и опускать руку. С левой возился дольше, видно, она ему больше понравилась: прижимал и отпускал, рассматривал, откинув голову и прищулив глаз; он как-

18 то обособил ее от правой... словом, показал себя эстетом. Потом разрешил одеться и сел к компьютеру.

— Сколько тебе лет? — спросил он, набирая что-то на экране. К этому Зяма привыкла — к тому, что в иврите нет обращения на «вы».

— Четырнадцать, — обронила она задумчиво, застегивая лифчик.

За ее спиной перестали щелкать по клавиатуре, повисла вежливая пауза. Зяма продела руки в рукава свитера, натянула его на голову и обернулась.

Врач смотрел на нее пристальным доброжелательным взглядом.

— Сколько? — с мягким нажимом переспросил он.

Зяма очнулась.

— Ой, извини! Сорок...

Так о возрасте: Зяма любила выбрасывать старые вещи. И не очень старые. И просто надоевшие. Выбрасывать, отдавать, убирать с глаз долой, расчищать пространство, выметать мусор, освободить площадку. Чувствовала при этом взрыв радостного обновления жизни, возобновления действия — итак, продолжаем! в следующей главе нашего рассказа...

Она выбрасывала все. Если летела набойка на каблуке, Зяма с облегчением выбрасывала туфли. Не говоря уже о дырочках на носках, о треснувшей по пройме рубашке...

Так она выбросила первого мужа, заметив, что ее любовь к нему совершенно износилась и нуждается в основательной штопке...

Было в этом высвобождении из старой шелушащейся кожи прошлых обстоятельств, связей и вещей некое тайное чувство, которое ужасало ее: когда умирал старый больной человек, Зяма испытывала такое

же — о, ужасное, постыдное, безнравственное! — 19
чувство разумности и естественности освобождения
пространства, обновления жизни: итак, продолжаем!
в следующей главе нашего рассказа...

С некоторых пор Зяма приглядывалась к своему
отражению в зеркале.

Собственно, ее худощавое, с корректными черта-
ми лицо не менялось: счастливая суховатая порода,
дедова закваска, крепкие ноские гены — жизнь тут ни
при чем. Так, лишь обозначилась вертикальная мор-
щинка между бровями и округлилась линия подбор-
одка. Естественные возрастные изменения. Но она
вглядывалась в себя деловито-хозяйским, холодным
глазом, словно прикидывала — не пора ли выбросить
эту пообносившуюся физиономию?

* * *

Автобус номер 405, следующий по маршруту Ие-
русалим — Тель-Авив, высадили ребята из бригады
«Голани», и она удивилась тому, что среди бойцов
этой прославленной бригады довольно много невы-
соких шуплых мальчиков с торчащими кадыками. От-
крыв все багажные отсеки автобуса, они забрасывали
внутрь тугие тяжеленные баулы. Несколько штатских
смирненно перебирали ногами в общей очереди.

Позади Зямы курили двое в форме летных частей.

— Они займут весь автобус, эти «Голани», — не-
одобрительно заметил один из летчиков. — Такие
наглые!

Второй, рядом с ним, был русским. Этнически
русским: пшеничная круглая голова, белесые корот-
кие ресницы — ну просто механизатор совхоза «Крас-
ная заря» где-нибудь под Черниговом. Он докурил,

20 отшелкнул окурок и проговорил с досадой, почти без акцента:

— Опять опоздаем...

Господи, все перевернулось, подумала она, все смешалось, лопнуло, потекло, растеклось по землям...

...Она сразу и без усилия вобрала в себя и эту страну, и население, поначалу изумившее ее горластостью и простотой. А ведь мы, выходит, — народ восточный, открыла она с необычным для нее, глубинным смирением. Приняла это, как впервые вбираешь потрясенным взглядом лицо своего ребенка, поднесенного к твоей груди на первое кормление. В ее памяти всплыли подзабытые словечки и присказки деда: он говорил «мейлэ», когда имел в виду «ладно», вздыхал часто: «Хоб рахмонэс»¹ и имя Иерусалим произносил как «Ершолойм».

Еще она вспомнила, что по субботам он почему-то носил в доме туркменскую тюбетейку и сам был ужасно похож на старого туркмена, со своими «мейлэ» и «хоб рахмонэс». Все было правильно: мозаичный узор судьбы подбирался по камушку, складывался медленно и старательно. И — поняла она — удивительно верно. В первые же дни она ощутила себя камушком, точно вставленным в изгиб узора огромного мозаичного панно, кусочком смальты, которые подбирает рука Того, кто задумал весь узор.

Ах, пошел бы Зяме Париж! Или Кельн, или Ганновер. Легкой утренней пробежкой в светлом плаще, переулком-ущельем между зданий готической архитектуры... Да делать-то нечего. Нечего делать, господа: лицо своему ребенку не переродишь...

Но за это смиренное приятие была она вознаграждена сразу и с лихвой: стала встречать на улицах,

¹ Хоб рахмонэс — будь милостив (*иврит*).

в магазинах, в транспорте своих умерших родственников. Так, вдруг разительно больно совпадали в чужом человеке тип лица, и походка, и манера совать под мышку свернутую в трубочку газету — вылитый дядя Исаак, только чуть больше лысина на затылке, — так ведь сколько лет после его смерти прошло.

А сколько раз она уже натыкалась на деда! Дважды бежала следом, чтобы еще раз в лицо заглянуть (хотя осознала, конечно, что выглядит странно). И радостное вздрагивание души, захлестнутое дыхание, спазм в горле, слезы на глазах — были ей такой наградой за все безумие отъезда...

...В автобусе она села позади водителя — марокканского еврея, сработанного из цельной глыбы. Так работают скульпторы, обобщая детали: круглая голова — литая шея — мощно отлитые плечи, огромные ладони, слитые с баранкой. И даже складки на мягкой фланелевой рубашке с откинутым на спину капюшоном казались слитными со всеми его скупыми движениями и сделанными из того же материала, например из терракоты.

Челночными осторожными ходками двухэтажный автобус выбрался с площади перед центральной автостанцией и узким подъемом, то и дело застревая в потоке истерично гудящих легковушек, — круто влево и круто вправо — наконец выровнялся на шоссе номер один.

Слева и сзади высоко завис Иерусалим, а справа внизу — кругами разошелся белый, в голубовато-молочной пенке облачков, приперченный красной черепицей Рамот.

Этот выезд, этот первый поворот на шоссе, этот вылет в простор Божьей сцены всегда напоминал ей те первые мгновения, когда самолет уже оторвался от

22 земли и набирает высоту, и бегут вниз и косо вбок веселые лоскуты луговой зеленой замши и черно-зеленая щетинка лесов...

Постоянное и всегда смешливое изумление вызывала в ней кукольная отсюда башенка мавзолея над могилой пророка Самуила. Так ладно, уместно, нарочито театрально венчал этот мавзолей один из дальних круглых холмов. А однажды, пасмурным утром, она видела прожекторно-желтый луч, настырный, как указующий перст. Он упирался в башенку мавзолея, прорвав стеганное дождем, тяжелое небо. На этой земле, под этим небом, с их театральными эффектами, легко было трепетать перед Всевышним...

Рядом с ней сел солдатик из «Голани», винтовку поставил меж колен, дулом вверх. Она взглянула мельком — кустистые черные брови над горбатым носом, суровое горское лицо. В проходе, прямо на своем бауле сидела девочка в форме танковых частей.

Почему ему не приходит в голову уступить девочке место, с досадой подумала Зяма. Ну да, они — солдаты, оба солдаты...

Они негалантны, подумала она со вздохом. Нет, негалантны...

В эту минуту раздалось тошнотворно знакомое позвякивание меди в пустой жестянке из-под «колы». Так и есть. И опять она не заметила, как проскользнул, как ввинтился, как просочился этот тип в автобус.

Равномерное позвякивание приближалось, вот уже на ступеньках лестницы со второго этажа показались грязные босые ноги в коротких чужих брюках с незастегнутой, как обычно, ширинкой, затем — вышитая жилетка на голое тело — вогнутая волосатая грудь с розовым серпообразным шрамом под серд-

цем — и, наконец, тревожно улыбающаяся, безумная физиономия иранского еврея лет сорока.

Мустафа, будьте любезны.

Он спустился по лесенке и, потряхивая банкой, крикнул:

— Мустафа шатается!

Пассажиры, страдальчески морщась и вздыхая, отвернулись к окнам или уткнулись в газеты.

Он побежал по автобусу, натываясь на солдатские баулы, погромливая жестянкой и распространяя вокруг сложный запах пота, пива, мочи и дезодоранта. Добежав до водителя, громыхнул медью над его ухом и объявил опять тревожно и внятно:

— Мустафа шатается!

Здоровяк за рулем сказал, не повернув головы:

— Высажу!

И эта короткая угроза произвела на безумного голодранца действие не только умиротворяющее, но даже успокаивающее. Он сел на ступеньку, заулыбался и запел, ритмично встряхивая баночку.

«Вот, вот идет Машиах...» — пел он, и мимо уносились крутые склоны лесистого ущелья Иерусалимского коридора.

Мустафа жил в автобусах номер 405, следующих по маршруту Иерусалим — Тель-Авив. Водители пускали его без билета, потому что Мустафа не занимал места. Он бегал по автобусу, снedaемый страшной, неутрачиваемой тревогой. Если он особенно сильно оживлялся, топал и нестерпимо громко пел о Машиахе, беспокоя пассажиров, следовало только пригрозить ему высадкой на шоссе. Он мгновенно стихал, присаживался на ступеньки и тихо напевал или дремал.

Приехав в Тель-Авив, он минут сорок шатался по улочкам старой автобусной станции, где хозяйева лаво-

24 чек — жестоковыйные и милосердные восточные евреи — подкармливали его, одевали и издевались над ним. Они его орошали дезодорантом, омерзительно-парфюмерный запах которого Мустафа ненавидел. Он чихал от него и кашлял. Вероятно, это была аллергия.

— Вот, вот идет Машиах! — кричали они, смеясь. — Эй, Мустафа, подойди, я дам тебе питу.

И когда несчастный безумец опасливо приближался, робко и хищно выхватывая питу из руки мизраха¹, тот успевал прыснуть на бродягу пахучей струей из баллончика. Мустафа визжал, плакал, кашлял и чихал. И убегал к огромному зданию новой автобусной станции, чтобы, незаметно проникнув в салон четырехста пятого автобуса, бегать по нему взад-вперед, вверх и вниз до самого Иерусалима...

...Автобус уже спустился с гор и катил распахнутой долиной Аялона. Солдатык рядом с Зямой беззащитно и самозабвенно спал, клоня голову на ее плечо. Его пухлые губы и во сне сложены были в непреклонную, упрямую гримасу. И девочка на бауле спала, опустив голову на скрещенные руки. Ветер из окна поддувал тончайшие спиральки волос на ее подростковой шее.

Их перебрасывают к ливанской границе, вдруг поняла Зяма, связав утренние плохие новости, и этих ребят из бригады «Голани», и двух летчиков, которые сейчас сидели где-то на втором этаже. Мысленно она говорила уже не «Ливан», а как местные жители — «Леванон»...

...Автобус подъезжал к Тель-Авиву, вот уже показались на равнине контуры могучего холма — го-

¹ М и з р а х — презрительная кличка восточного еврея.

родской помойки, в просторечье — Тель-Хара. Переводилось это романтическое благозвучное имя как Холм Дерьма, или, если так удобнее, — Дерьмовый Курган. Всякий день очертания его вершины менялись: то с одного боку насыплет мусоровоз горку, то с другого. То вздымался посередине гребень, то словно двугорбый верблюд остановился на равнине. Чайки дружными серебристыми стаями, издалека — под лучами солнца — похожие на блескучих рыбок в аквариуме, всегда носились над величественным Тель-Харой. По гребню его ползали грузовики-мусоровозы.

Иногда Зяма представляла, что если заснять на пленку изменения рельефа этой горы, а потом прокрутить пленку в страшном темпе, то Дерьмовый Курган шевелился бы, ворочался и волновался, как гигантское ископаемое на равнине...

Мустафа вскочил и побежал к лестнице на второй этаж — там будет греметь баночкой и, тревожно улыбаясь, всматриваться в окна. Что за мятущаяся тоска гнала его из города в город, с гор на побережье и с берега моря — в горы? В этом двойном вращении его тоски, одновременно — внутри автобуса и меж городами, — она усматривала сходство со своей тоской, мятущейся внутри страны и — вместе со всем народом — внутри Вселенной.

На спине водителя валялся мятый фланелевый капюшон. Зяма представила, как в дождь, выбегая из автобуса в диспетчерскую, он набрасывает его на голову — детский капюшон на этой полуседой курчавой голове марокканского быка. А на ногах у него должны быть старые кроссовки...

Вот что пугало ее: домашность всей этой страны и ее населения.

26 Все ее жители относились к стране, как к своей квартире, и так одевались, и так жили, не снимая домашних тапочек, и так передвигались по ней, и так ссорились, — незаметно, небрежно и смертно привязаны к домашним, — совершенно не вынося друг друга, и взрываясь, когда чужой посмеет плохо отзываться о ком-то из родни... Они так и убегали из нее, как сбегают из дома — до конца дней не в силах окончательно вырвать его из себя.

Автобус вырулил на мост Ла Гардиа и остановился. Здесь всегда выходили солдаты. И ее мимолетный сосед, суровый горский мальчик, и девочка, всю дорогу проспавшая в немыслимой позе на своем вещмешке, и двое летчиков, и шустрые, наглые «Голани» вытаскивали баулы из багажника.

Зяма смотрела в окно на русского. Ему очень шла форма летных частей, вообще он был крупный, хорошо сложенный, скованный и неяркий человек — среди этих черноглазых, развинченных в движениях уроженцев Средиземноморского побережья.

Ну что ж, подумала она, мы ведь тоже повоевали за их землю. И ужаснулась — за чью, за «их»? Все смешалось, все перевернулось, Господи...

Наконец причалили к перрону шестого этажа новой автостанции. Водитель потянулся, заломив руки над головой, крикнул и стал ждать, когда пассажиры выйдут.

Мустафа уже выскользнул и пошел нырять в разбегающейся по эскалаторам толпе.

Зяма вышла последней. Она всегда выходила последней и всегда говорила водителю «спасибо». Для нее это была примета, условие удачного дня, талисман.

Выходя, она скосила взгляд вниз, на его ноги. Да: 27
старые кроссовки без шнурков... Нас всех когда-ни-
будь тут перебьют, в который раз подумала она в бес-
сильной ярости, — в этой открытой всем ветрам трех-
комнатной стране, в этих наших домашних тапочках...

2

Вот многие считают: рухнула империя, поэтому и
повалили, покатались, посыпались из нее потроха —
людское месиво.

Распространенное заблуждение — подмена след-
ствием причины.

А может, для того и полетели подпорки у очеред-
ной великой империи, чтобы пригнать Божье стадо
на этот клочок извечного его пастбища, согласно не
сегодня — ох, не сегодня! — составленному плану?
Еврейский Бог — не барабашка: читайте Пророков.
Медленно и внимательно читайте Пророков...

С чем сравнить этот вал? С селевыми потоками,
несущими гигантские валуны, смывающими пласты
почвы с деревьями и домами?

Или с неким космическим взрывом, в результате
которого, клубясь и булькая в кипящей плазме, за-
рождается новая Вселенная?

Или просто — неудержимо пошла порода, в кото-
рой и самородки попадались, да и немало?..

Как бы то ни было, все это обрушилось на не-
большой, но крепкий клочок земли, грохнулось об
него с невероятным шумом и треском; кто расшибся
вдребезги, кого — рикошетом — отбросило за океан.
Большинство же было таких, кто, почесывая ушибы
и синяки, похныкал, потоптался, расселся потихонь-
ку, огляделся... да и зажил себе, курилка...

ДЦРД — Духовный Центр Русской Диаспоры — посещали люди не только духовные. Завхоз Шура, к примеру, утверждал, что не было в Духовном Центре такой вещи, которую не сперли бы многократно.

Каждые три дня крали дверной крючок в туалете. Крючок. При этом оставляя на косяке железную скобу, на которую этот крючок накидывается.

Примерно раз в пять дней выкручивали лампочку над лестницей, ведущей на второй этаж. Это можно было осуществить только с риском для жизни, сильно перегнувшись через перила второго этажа, и чтобы кто-нибудь держал за ноги, иначе можно разбиться к лебедям.

(Тут необходимо добавить, что в супермаркете лампочка стоит два шекеля восемьдесят агорот...)

Существование бара в одном из закутков ДЦРД расцвету духовности тоже не способствовало. И хотя содержала его милая женщина с усталой, извиняющейся за все улыбкой — бывшая пианистка из Тбилиси и, дай бог не соврать, чуть ли не лауреат какого-то конкурса, — именно ее земляки, с особой охотой посещавшие бар Духовного Центра, придавали этому заведению необратимо закусочно-грузинский оттенок. Среди всех выделялся некто Буйвол — чудовищной массой, волосатостью и грубостью. Он заказывал обычно лобио, хачапури и сациви, поглощая все это в неопрятном одиночестве, чавкая, сопя и закатывая глаза в пароксизме гастрономического наслаждения. Окликнет его кто-нибудь в шутку:

— Буйвол, ты что — похудел?

Он испуганно воскликнет:

— Ты что, не дай бог!

По средам вечером гуляли тут журналисты, коллектив ведущей русской газеты «Регион» — отмечали завершение и отправку в типографию очередного еженедельного выпуска. А были среди журналистов «Региона» люди блестящие — умницы, эрудиты, отчаянные пройдохи и храбрецы, в советском прошлом — все сплошь сидельцы: кто за права человека, кто за угон самолета, кто за свободу вероисповеданий.

Был в Духовном Центре и зал со сценой, добротный зал мест на четыреста, и косяком пер сюда гастролер, неудержимо, как рыба на нерест.

Известные, малоизвестные, не столь известные, а также знаменитые российские актеры и эстрадные певцы, барды, чтецы и мимы, оптом и в розницу, то сбиваясь в стаи, то оставляя подельников далеко позади, безусловно, поддерживали высокий накал духовности русской диаспоры.

Извоз российских гастролеров держали почему-то украинские евреи. Может быть, поэтому анонсы предстоящих гастролей, напечатанные в русских газетах, шибали в нос некоторой фамильярностью. Рекламные объявления обычно не редактировались, так что даже в культурном и грамотном «Регионе» можно было наткнуться на зазывы: «Такое вам еще не снилось!» Или: «Впервые в вашей жизни — в сопровождении канкана!»

Сценарий проката джентльменов в поисках десятки был всегда одинаков. Первым у приехавшей знаменитости брал интервью журналист газеты «Регион», известный местный культуролог Лева Бронштейн — безумно образованный молодой интеллектuala, знающий невероятное количество иностранных слов. Он выстраивал их в предложение затейливой цепочкой, словно крестиком узоры на пяльцах вышивал.

Смысл фразы читатель терял уже где-то на третьем деепричастном обороте. Читая Бронштейна, человек пугался, расстраивался: был трагический случай, когда к концу пятого абзаца одной его статьи читатель забыл буквы русского алфавита.

Статьи Левы Бронштейна от начала до конца читали, кроме него, еще два человека: его подвижница-жена и профессор культурологии кафедры славистики Йельского университета Дитрих фон дер Люссе — тот был искренне уверен, что Лева пишет свои статьи на одном из восьми известных профессору иностранных языков.

Русская израильская интеллигенция страшно почитала культуролога Бронштейна, его имя вызывало священный трепет, и хотя дальше заголовка, как правило, никто продвинуться не мог, считалось некрасивым на это намекать. По сути дела Лева был божьим человеком, кое-кто даже полагал, что в свое время он будет взят живым на небо...

Приезжая знаменитость вещала в его интервью длинными сложными построениями о самых разнообразных материях: о трансцендентности начал, о детриболизированности сущностных величин, открывала горизонт специфически национального потребления, а следственно, этнической метафизики, задавала основные параметры мыслеформы и под конец интервью восклицала что-нибудь эдакое, абсолютно загадочное, парализующее зрительный нерв рядового читателя: «Нет терроризма педантичней, чем этот, до костей обглоданный риторикой!»

Затем, засучив рукава, за приезжего певца (актера, барда, поэта, мима) брались журналисты остальных двенадцати русских газет.

Эти интервью читать было легко и привычно: как-то внезапно позабыв о высоких сферах и обглоданной риторике, знаменитость жаловалась на трудное российское житье, дороговизну рынка, возросшую преступность и духовное оскудение российского общества...

И наконец обалдевшая от напора массмедиа и потерявшая бдительность знаменитость попадала в лапы Фредди Затирухина — главного редактора, ответсекретаря, репортера, корректора, а также курьера, вышибалы и поломойки паршивой порнографической газетенки «Интрига».

Фредди овладевал знаменитостью обманом и чуть ли не силой: он являлся в отель выбритым и дезодорированным и, открыв роскошный дипломатический кейс, доставал оттуда дорогой японский диктофон...

Рекомендовался он, как правило, президентом. Это принято: президент компании такой-то. У него и на визитке было написано золотом: «Фредди Затирухин. Президент».

Так вот, наутро в свежем номере «Интриги» появлялось разухабистое, с обилием неприличных слов, безграмотных выражений и непристойных откровений интервью, где знаменитость делилась с читателем этого малопочтенного издания некоторыми подробностями своей личной жизни. Ребята из «Региона» божились, что в одном таком интервью девять раз встречалось слово «хули»...

За всем этим — имеется в виду и последующая разборка пьяной знаменитости с пьяным президентом Затирухиным в баре ДЦРД, и приезд наряда полиции с дальнейшим поручительством за всех и вся дирекции Духовного Центра, — за всем этим следовал

32 триумфальный концерт во всем великолепии, во всей мощи духовного накала благодарной, алкающей культуры публики русского Израиля...

Единственным, что неизменно омрачало светлый праздник Искусства, — было стремление российской знаменитости сказать в микрофон нечто поучительное по национальному вопросу. Поразительно, до чего жгла и мучала арабо-израильская проблема всех приезжих гастролеров. Сначала им намекали — легонько, перед концертом — не стоит, мол, лезть в чужую синагогу со своим протухшим интернационализмом. Нет, не действовало! Обязательно скажет, да еще так задушевно, — а как же, мол, дорогие бывшие соотечественники, некрасиво получается у вас с арабским родственным народом?..

Ну, понятно, крепче уже стали предупреждать: не учи, сука, ученых и бывалых... Куда там! Уже всю чёсовую программу напоет-набормочет, уже весь цветами засыпан, глядь — под конец, под бурные аплодисменты — пук!!! Такие вот ослиные уши царя Мидаса; такое вот не могу молчать.

А самая знаменитая Знаменитость, та вообще развела полными руками да и ляпнула от полноты сердца:

— Евреи и арабы! Да помиритесь вы, черти! Чего не поделили-то?!

(Представители арабского народа в тот день — как и в остальные, впрочем, — в зале напрочь отсутствовали. Надо полагать, по причине вечернего намаза.)

А между тем не далее как утром ведущий русский экскурсовод Израиля Агриппа Соколов ударно проволоч Знаменитость сразу по трем маршрутам:

1. Храм Гроба Господня — величайшая святыня христиан;

2. Западная Стена Храма — величайшая святыня иудеев; 33
3. Мечеть Омара — величайшая святыня мусульман.

Если пояснить (для неместных), что все три святыни громоздятся чуть ли не друг на друге, можно было бы догадаться — что не поделили эти три великие конфессии: всего-навсего Бога.

Кстати, об экскурсиях. В подвальных помещениях Духовного Центра, в нескольких крошечных выгородках размещалось экскурсионное бюро «Тропой Завета». Основал и возглавил его великий Агриппа Соколов (в местных условиях ударение в этой хорошей русской фамилии валится почему-то на первый слог).

Но тут необходимо сделать небольшое — о, совсем мимолетное! — отступление.

Индустрия... экскурсоведения? экскурсовождения? — словом, технология замучивания зайца-туриста, медленного поджаривания его на хамсинном пекле в долинке Геенны Огненной — за годы Большой алии приобрела невероятный размах.

Турист на Святую землю шел разнообразный и отовсюду. Не говоря уже о рядовых гражданах России и ее бывших республик, о любознательной русской мафии, о бизнесменах всех сортов и мастей, о подданных священниках в сопровождении небольшой веселой паствы, оголтелого русского туриста представляли и Америка, и Канада, и Германия, и ЮАР, и даже Новая Зеландия, тоже сколотившая за последние пару лет русскую общину не хуже, чем у людей.

Все это туристское стадо, в зависимости от интересов и вероисповедания, надо было грамотно рас-

34 сортировать и удовлетворить. Обслужить по высшему разряду.

В области религиозных чувств, как известно, требуется деликатность особого свойства. И тут сотрудники экскурсионного бюро «Тропой Завета» проявляли себя подлинными виртуозами своего дела. Скажем, ведете вы группу православных христиан из города Переславля-Залесского. Смело объявляйте название экскурсии — «Тропою Нового Завета». Но упаси вас бог маршрут, по которому вы повели стайку религиозных евреев из каменец-подольского общества «Возвращение к корням», назвать «Тропою Ветхого Завета».

В том-то и фокус.

Вот вам невдомек, а евреи свой Завет отнюдь не считают ветхим и непригодным к использованию. Наоборот — по их мнению, он отлично сохранился в течение всех этих хлопотных тысячелетий, а за последние лет пятьдесят так прямо засиял, как новенький, и подтверждает это на данном, нарезанном самим Всевышним дачном участке земли существование еврейского, вполне половозрелого государства... Словом, тончайшая, деликатнейшая материя, лезгинка на острие кинжала, балансирование с шестом на канате, фокус с удавом на шее, раздувающим кольца...

Легче и приятнее всего было вести группу, сколоченную из ядреного бывшесоветского среднетехнического атеиста. Эти не знали ничего, путали Иисуса Христа с Саваофом, деву Марию с Марией Магдалиной, задавали кромешные вопросы, крестились на Стену Плача и оставались довольны любыми ответами экскурсовода.

Стоит ли удивляться, что, завершив трудовую неделю и вешая в преддверии шабата¹ увесистый замок на дверь конторы, ведущие экскурсоводы Иерусалима — охальники, насмешники, циники — на традиционное субботнее приветствие «Шабат шалом!» ответствовали бодро: «Воистину шалом!»...

3

Поднимаясь в лифте, она достала из сумки ключи от двери офиса.

Даже здесь, на стенке кабины лифта, было наклеено объявление миссионеров новой секты, распространителей загадочного продукта «Группенкайф».

Все эти объявления-призывы носили истощный характер, словно призывали к насильственному захвату каких-то жизненно важных государственных ценностей. Правда, ни в одном из объявлений не уточнялось — каких именно, и это смущало и сбивало с толку: так, будто ночью тебя разбудили безумным воплем «горим!!!» — а где и кто горит, куда бежать, кого спасать — упорно не сообщают.

Почти все объявления начинались призывом: «До каких пор?!» Или: «Сколько можно?!» — а дальше уже все зависело от изобретательности и авантюрных наклонностей миссионеров-распространителей. Вот несколько образчиков таких объявлений.

«До каких пор хозяева будут издеваться над олим², наживаясь на нашем тяжком труде?! Всем, кому надоело хрячить на израильтян, мы предлагаем участие

¹ Ш а б а т — это суббота, святой день у иудеев.

² О л и м — новые репатрианты (букв. «поднявшиеся») (иврит).

36 в новом перспективном бизнесе. Здоровье! Высокие заработки! Расслабление и хорошее настроение!!!»

«Сколько можно прозябать в нищете и унижаться?! Мы готовы указать вам путь к настоящему богатству! Вы будете иметь деньги и высокую потенцию, отличные успехи в бизнесе и чувство удовлетворения жизнью!»

Или просто:

«Сколько можно?! К нам и только к нам! Перспективная фирма! Высокие заработки! Железное здоровье! Бездна свободного времени!!!»

Витя был уже на работе. Он стоял, навалившись круглым животом на световой стол, и, старательно сопя, вырезал ножницами из журнала «Ле иша» непристойную карикатуру на премьер-министра. Увидев Зяму, он просиял всей своей лохматой физиономией старого барсука и проговорил нежно:

— Зямочка, какого хера ты приперлась ни свет ни заря?!

Их ждал обычный тяжелый день: тридцать две еженедельные газетные полосы, которые они делали вдвоем, плечом к плечу перед компьютером, вот уже пятый год...

Редакция их газеты (или, как оба они гордо говорили — «офис») обреталась в шестнадцатиметровой комнате, снятой на одной из самых грязных улочек, в самом дешевом районе южного Тель-Авива.

Это обшарпанное трехэтажное здание в стиле «бау-хауз», выстроенное в конце тридцатых, предназначалось для сдачи внаем всевозможным конторам, бюро, мастерским и мелким предприятиям, если, ко-

нечно, можно назвать предприятием престижный салон «Белые ноги», занимавший весь третий этаж. 37

(Кстати, отнюдь не все сотрудницы этого заведения могли предоставить клиенту обещанный в меню деликатес, а именно — белые ноги. Среди обслуживающего персонала трое были маленькие тайландки, глянцевого, как желтые целлулоидные куклы, две горластые, чернявые и горбоносые дщери то ли иранского, то ли марокканского происхождения, а также Света и Рита, славные девушки из Минска на сезонных заработках.)

На двери редакции висела табличка с текстом, набранным Витей на «Макинтоше» скромным, но респектабельным шрифтом «Мария»:

«ПОЛДЕНЬ» —

литературно-публицистический еженедельник

Прием авторов по воскресеньям и средам.

Посторонних просим не беспокоить.

Посторонние беспокоили их гораздо чаще, чем авторы. Уж очень злачное это место — мусорные обветшалые улочки в районе старой автостанции. Забрехали к ним агенты по распространению неповторимых диет, нищие, дешевые бездомные проститутки, принимающие клиентов в подворотнях и за гаражами, одурелые свежие репатрианты, пришибленные всей этой ни на что не похожей жизнью, заблудившиеся клиенты престижного салона «Белые ноги», сумасшедшие с разнообразными маниями.

Несколько раз являлись Мессии.

Двое из них были в образе авторов и даже с рукописями в папках, а один — всклокоченный, с блуж-

38 дающим темным взором, рванул дверь и рыдающим голосом спрашивал — не пробежала ли здесь молодая ослица, не знающая седла. И повторял жалобно: «Белая такая, беленькая, славная...»

Витя уверял, что если пристально смотреть сумасшедшим промеж глаз, чуть выше переносицы, то они сразу теряют энергетику и быстро уходят.

Были, были замки, была решетка от пола до потолка, отделяющая вход в коридор второго этажа от лестничной площадки с лифтом; вешался на нее громоздкий амбарный замок, с которым Витя мучился, как проклятый, каждое утро — отпирая и каждый вечер — запирая. Но днем-то решетка была отперта. Сновали туда-сюда служащие, клиенты, уборщики — на втором этаже размещались офисы пяти компаний.

А вот верстать газету Витя предпочитал ночью. Он вешал замок на решетку, запирали изнутри дверь редакции, раздевался до трусов и садился за компьютер. Под столом держал Витя тазик с водой — в нем он полоскал и нежил натруженные ноги, обутые в пляжные пластиковые сандалики, купленные на рынке «Кармель» за пятнадцать шекелей. Витя трепетно относился к своим мозолям...

Стоял у них еще старенький холодильник «Саратов», приобретенный по случаю распродажи имущества одного разорившегося борделя, была и духовочка, подаренная соседом-болгарином, притащил Витя из дома ручную соковыжималку. Всю ночь светился дисплей роскошного нового «Мака» — гордости, капитала, главного достояния редакции, красавца наипоследнейшей модели... — словом, это были лучшие часы в Витиной жизни. Вот если б еще туалет не в коридоре, а под боком — это ль было бы не счастье при Витином-то застарелом геморрое!..

— ...Возьми в холодильнике апельсиновый сок, — сказал он не оборачиваясь. Он сидел перед компьютером на доске, положенной на стул, так ему было удобнее. — Я еще ночью выжал.

— Спасибо, милый...

Она достала из холодильника литровую банку, некогда из-под соленых огурцов, — в нее Витя сливал выжатый сок. Зяма представила, как ночью — полуголый, в пляжных сандаликах, трясая толстыми волосатыми грудями, — он давит для нее апельсины на ручной соковыжималке. Какой он милый!

— Как ты себя чувствуешь? — спросила она, усаживаясь рядом с ним перед дисплеем.

— Не блестяще...

— Почему ты все-таки не обратишься в эту частную клинику? Они все время дают объявления, что излечивают геморрой без операции.

— А!.. — буркнул он, как обычно.

— Но показаться-то можно! — как обычно, раздражаясь, воскликнула она. — Тебе что — жалко показаться?

— Мне не жалко, — грустно ответил Витя. — Я готов показывать свою жопу каждому, кто готов в нее смотреть...

Витя был чудовищным хамом, хотя и нежнейшим, преданным человеком.

История начала их совместной работы в газете была настолько нелепа и удивительна, что до сих пор, почти пять лет спустя, они нет-нет да и поражались заново — как это получилось?

А получилось вот как: Зяма с семьей снимала тогда небольшую квартиру в Рамоте, одном из дорогих районов Иерусалима. Жила она в то время двойственной жизнью — утром убирала по найму квартиры со-

40 стоятельных израильтян, а во второй половине дня ее часто приглашали участвовать в каких-то симпозиумах, «круглых столах» в университете и радиопередачах, которые вел авторитетный радиожурналист Сема Бампер.

В то время бурно обсуждался вопрос взаимодействия двух культур — русской и израильской. Причем представители русской культуры воспринимали данный вопрос чрезвычайно серьезно и говорили о взаимодействии с горячностью и преданностью необыкновенной, в отличие от израильтян, которые уже не раз что-то такое обсуждали и, подобно Синею Бороде, знали, что в потайной комнате взаимодействий уже заморены голодом несколько разных культур.

Зяма тогда начала догадываться не только о существовании подобного тайного склепа — она поняла, что в нем хватит места для новых и новых жен Синею Бороды. В то время истеблишмент еще заигрывал с «русской» интеллигенцией, еще трепал ее по щечке, хотя запуганная телефонными и муниципальными счетами интеллигенция уже всюю шуровала шваброй, где только могла. И Зяма шуровала. Муж ее еще не сдал неперенный экзамен на разрешение работать врачом. Они не то что голодали, нет, конечно, но — боялись голодать.

Вот в эти-то дни в их съемной квартире раздался телефонный звонок.

Незнакомый голос, одновременно грубоватый и неуверенный, осведомился — не она ли выступала вчера в радиопередаче на темы культуры? Услышав, что — да-да, она, неизвестный спросил:

— Вы какую консерваторию кончали?

Надеясь, что речь идет о каком-то заработке музыкального рода, Зяма подробно и подобострастно

поведала свою рабочую биографию. В трубке вздохнули.

— А я — скрипач, три курса Вильнюсской консерватории. Потом бросил и много лет работал настройщиком фортепиано. Вы не представляете, как мне страшно...

И, запинаясь в тех местах рассказа, где, по-видимому, ему хотелось выругаться, неизвестный рассказал некую идиотскую историю, которая с ним приключилась... Он настройщик, как уже было сказано выше, причем настройщик хороший. Приехав, дал объявление в газету «Новости страны», и — не фонтан, конечно, — но кое-какой заработок имеется. Вот так на днях звонят по объявлению и предлагают настроить и отремонтировать старый «Блютнер»... Он приходит, проверяет инструмент, вынимает механику и начинает работать. А хозяин — верткий старикашка, польский еврей — тридцать лет как из Варшавы — вьется вокруг и затевает всякие разговоры. Ну, вы знаете их штучки: «сколько времени ты в Стране» да «как тебе в Израиле живется» — и прочая (тут голос запнулся)...

— Херня, — подсказала Зяма.

— Да! — обрадовался он. — Меня, кстати, Витей зовут.

— А меня — Зямой, — сказала Зяма. — Очень приятно.

— Дальше, — продолжал Витя, — разговор с хозяином рояля повернулся самым удивительным образом. Я, конечно, дал волю языку и сказал все, что думаю об этом обществе и об этом государстве... Знаете, я ведь приехал сюда обалделым сионистом... «Если забуду тебя, Иерусалим!..» Впрочем, это не важно. Говорю вам — это был припадок красноречия у волка, которому прищемили капканом яйца... А этот

42 старикан... между прочим, он балакает по-русски. Конечно, ублюдочный русский, но... Ах, говорит, как красиво вы говорите, — они же эпитет «красивый», как чукчи, употребляют во всех смыслах: «красивый обед», «красивая книга»... Да, говорит, как красиво говорите, и как убедительно! И о культуре — верно, верно, многое очень верно... Кстати, о культуре. Я, говорит, главный редактор газеты «Новости страны», Залман Штыкгерголд, будем знакомы... В настоящее время, говорит, назрела необходимость в издании литературно-публицистического приложения к нашей газете. Это будет первое в истории русской прессы Израиля пятничное приложение. Вы ведь пишете? — спрашивает. И с такой радостной надеждой на меня смотрит. И я, дурак, сказал, что пишу. Более того — что работал в газете.

— Зачем? — спросила Зяма.

Витя замялся...

— Понимаете, — объяснил он, — вообще-то я и вправду пишу немного, и печатался в «Вечернем Вильнюсе», и... публиковал музыкальные рецензии... Дело не в этом... В общем, можете себе представить, хотя это, конечно, трудно вообразить... впрочем, это вполне в духе всей здешней жизни — чтобы главный редактор газеты думал не головой, а (тут он опять запнулся)...

— ...жопой, — подсказала Зяма.

— Да! — воскликнул Витя благодарно. — Словом, можете вообразить: мар Штыкгерголд предложил мне делать литературное приложение к своей газете.

— Как же это? — удивилась Зяма. — Как вы намерены это делать?

— Вот, — сказал Витя расстроено, — в том-то и дело. Я же сказал вам, что мне страшно... Он дает некий бюджет (скупердяй чудовищный! ну, вы знаете

этих паршивых «поляков», хуже которых только «румыны») — тысяч двадцать — двадцать две в месяц. На эти деньги я должен содержать помещение, купить оборудование, платить гонорары, нанять еще одного сотрудника, потому что один не справлюсь. Пока он хочет шестнадцать полос, а потом будет тридцать две.

— Обдираловка, — сказала Зяма.

— Конечно! А кто, кроме меня, согласился бы на это? Я вас послушал в передаче, вы так здорово, мне кажется, все расставили по местам, всем надавали по морде. Правильно: хватит перед ними заискивать. Абсолютная духовная независимость — вот залог сохранения нашей культуры... Дай, думаю, позвоню — может, вы когда-нибудь занимались газетой?

— Да нет, — вздохнула она, — я музыковед. Составляла и редактировала несколько сборников статей... Но ведь газета — это нечто противоположное.

— Умоляю! — торопливо проговорил Витя. — Не бросайте меня! Я очень боюсь. Я нанимаю вас на должность редактора.

— У меня, знаете ли, был дед, — сказала Зяма, — который говорил в таких случаях: «Не ищи себе сраку на драку». Хотя сам-то всю жизнь искал. И находил.

— Но я же мечтал об этом всю жизнь! — воскликнул он. — И признайтесь, неужели вам не хочется попробовать? А вдруг мы сможем делать настоящую, хорошую литературную газету?.. Только не говорите «нет»! Две тысячи в месяц вас устроят?

— Еще бы! — сказала Зяма.

* * *

В первые месяцы, когда они и сами еще не верили, что делают настоящую газету, Витя продолжал иногда настраивать инструменты. Официально да-

44 вать объявления в своей газете, которую они назвали «Полдень», он права не имел, это было одним из идиотских условий Штыкгерголда. Поэтому объявления о настройке фортепиано они камуфлировали в передовых статьях, которые Штыкгерголд обычно не мог осилить. Делалось это так:

«С наступлением эры детанта и попыток Запада откупиться от красной угрозы путем уступок, террор палестинцев, обучаемых в Болгарии, ГДР и СССР, стали называть актами национально-освободительной борьбы. Так насаждается сумятица в головах обывателей и сумбур в мыслях журналистов.

И все это в то время, как опытный настройщик фортепиано — стоит вам лишь позвонить по номеру 6832853, — с удовольствием и сравнительно недорогоотрегулирует и отремонтирует механику вашего инструмента».

Или:

«Раскопки продолжаются, предполагается очистить от обломков и исследовать гробницы пятидесяти сыновей самого известного из фараонов — Рамзеса Второго. Надо полагать, с особым интересом за этими работами будут следить израильтяне. Ведь Рамзес Второй — тот самый «Паро», с которым вел беспощадную борьбу наш Учитель Моисей и которого евреи называют ничтожным, а мусульмане — Рамзесом Великим. Разгадка — в будущем. Ну а пока: опытный настройщик с удовольствием ответит вам по телефону 6832853 и произведет регулировку и ремонт механики вашего фортепиано».

Кому надо было, тот звонил. На случай, если ущучит что-либо старая сволочь Штыкгерголд, всегда можно было свалить на ошибку наборщицы.

— Ну-с? — спросил привычно Витя. — Кугель?

С Кугеля, как правило, начинали работу над очередным номером газеты, с утречка, пока свежи еще силы. Кугеля надо было переписывать от начала до конца, с заглавия статьи до многозначительного многоточия, которым тот усеивал последний абзац. На редактуру политической статьи Кугеля они ухлопывали часа три, потому что ежеминутно необходимо было заглядывать в справочники, словари и энциклопедии.

Кугель путал даты, ошибаясь на годы и даже десятилетия. Он путал географические названия, имена и должности государственных деятелей, к тому же нетвердо помнил — кто из них жив, а кто уже перекинулся.

Он знал шесть иностранных языков, и все плохо. Он изобретал новые идиотские факты; брал с потолка цитаты; создавал научные теории, от которых хватил бы удар любого десятиклассника; ссылался на законы, не существующие в юридической практике государства; приводил цифры экономических показателей, за которые следовало упечь его за решетку.

Он умудрялся печататься во всех русских изданиях, кроме ведущей газеты «Регион», куда и сам не сошелся.

В «Средиземноморское обозрение» давал короткие заметки на культурные темы под псевдонимом А. Герцен. В «Ближневосточье» однообразно высказывался на темы моральные, ругая аппетиты новых репатриантов и противопоставляя им страдания и самоотверженность прошлых волн Алии. Здесь он выступал под псевдонимом Шимон Бар-Иохай.

Сшибал копеечные гонорары по разным плевым изданиям, но особо активно сотрудничал с газетен-

46 кой «Интрига», где печатал бесконечные эротические романы под псевдонимом Князь Серебряный. (Зяма, если в руки ей случайно попадал номер «Интриги», плевалась и обзывала Кугеля «отцом сексуального сионизма».)

От его риторики тошнило.

От его патриотизма можно было стать завзятым антисемитом.

Надо ли было гнать Рудольфа Кугеля в шею?

Ни в коем случае.

Во-первых, он жил в Стране тридцать пять лет и помнил все политические скандалы, причины падения правительств и отставок государственных деятелей. Знал пикантные детали закулисных интриг в кнессете, где постоянно ошивался. Следил за прессой и телевидением на шести языках и обладал изумительным нюхом на жареное — еще до того, как первый язык скандала лизнет бок освежеванного политического барашка. Писал статьи он за считанные минуты, в порыве чистого вдохновения, и в воскресенье — а здесь оно называлось День Первый и было началом рабочей недели, — дискета с набором свежей статьи на тему самого актуального события уже лежала в редакции. Были случаи, когда неторопливый литературный «Полдень» давал острую политическую статью еще до того, как собирал, анализировал и подготавливал материал к очередному своему глубокому и всестороннему обзору событий ведущий политолог «Региона» Перец Кравец. Словом, Кугель был решительно незаменим. Но главное не это. Переписывая очередную статью Кугеля, матерясь и изнывая, ругая автора старым мудилой, оба они просто-напросто любили старика. Конечно, не за то, что пятнадцатилетним парнишкой Кугель был отправлен в Дахау, и не

за то, что своим зычным голосом он охотно объяснял Вите и Зяме, как нужно укладывать трупы перед отправкой в печь: по двое, и двое поперек, и снова двое, — штабелями, как поленницу... Об этом он только рассказывал, макая печенье в чашку с горячим чаем (Витя с Зямой всегда угощали авторов чаем или кофе), — но никогда не писал. Эта тема была единственной, коей не касалось его вездесущее перо.

Так что они его просто любили.

Так что ни о каком «в шею» не могло быть и речи.

Так что нужно было только тщательно переписывать полемические излияния старика — от заглавия до последнего абзаца.

В «Полдне» он печатался под псевдонимом Себастьян Закс...

— ...Ну?..

Когда они переписывали Кугеля, Зяма то и дело вскакивала и бегала по комнате. Витя набирал. Время от времени он предлагал свою версию той или иной фразы, тогда она думала и говорила: «Не годится!» или: «Умница!», и он энергично шлепал по клавиатуре.

— Ну, во-первых, как всегда, у старого идиота — отличный заголовок, — сказал Витя, — «Ложь, сладкая, как чесотка».

— М-м... О чем он там сегодня наваял?

— Ты ж знаешь — что вижу, о том пою. Нарушение правительством предвыборных обещаний, дискриминация новых репатриантов, скандал с биржевыми махинациями, мирный процесс...

— А! Ну, так и пиши — «Аспекты нового гуманизма».

48 Витя бодро, как щегол, защелкал по клавиатуре. Работа закипела, и уже часа через два оба они, взмыленные, как два битюга, подбирались к последнему абзацу, который выглядел следующим образом:

«Журналисты с неприкрытой жадной жадностью ждали пикантностей из зала суда. В это же время над свежей могилой горевал главнокомандующий и раздался залп почета. Привилегированные персоны, вкушающие министерские оклады, играют в руку премьер-министру.

Но мало Фемиды с ее завязанными глазами! Дамоклов меч более чем подозрений навис над любителями биржи. Народ еврейский не дурак! Грядет народное разоблачение, и нас уже не заморочить внутрипартийной грызней: это борьба старого застенелого иконостаса с молодой порослью из той же социал-сионистской голубятни!»

Несколько мгновений они сидели, уставясь в экран компьютера, соображая — каким образом перелицевать эту ветошь, пытаясь выловить хоть обломок мысли из этих сточных вод.

— Тяжелый случай, — наконец сказала Зяма. Они съели по яблоку, помолчали.

— А не выкинуть ли вообще на хрен этот абзац? — доверчиво спросил Витя.

— Умница!

Абзац с облегчением выкинули. Теперь необходим был заключительный аккорд для этой хлесткой, полемической, во многом разоблачительной статьи.

Зяма предложила «рыбу». Написали. Переделали. Добавили. Ужесточили. Хрястнули по левым. Еще хрястнули. Лягнули правительство — ему уже не больно...

Съели по второму яблоку и торжественно вслух 49
перечитали концовку:

— «Историческая Партия Труда, многократно менявшая свои названия, была и остается партией большевистского типа, — читала Зяма не без удовлетворения. — Недаром политическим кумиром Бен-Гуриона был Ленин (хотя по многим вопросам Бен-Гурион занимал позицию, отличную от Ильича). Главное, что заимствовал Бен-Гурион у Ленина, — это учение об удержании власти. Почему коммунисты потеряли власть в СССР? Почему они фактически декоммунизировались в Китае? И наконец, почему они до сих пор правят в Израиле?

Потому что здесь они сумели мимикрировать. Израильская разновидность коммунизма сумела осуществить мутацию единственно правильным путем — отказ от прямого насилия, выборы, якобы многопартийность. Затянутый ими «мирный процесс» не имеет ничего общего с миром, его цель — уничтожить политических противников Партии Труда, снести поселения, превратить десятки тысяч граждан в новых люмпенов, скомпрометировать их, вывести за пределы национального консенсуса. Так удерживают власть в своих мозолистых руках биржевики от коммунизма».

— Во дает Себастьян Закс! — воскликнул явно довольный собой Витя и азартно поскреб в серо-седой бороде.

После статьи Кугеля, как всегда, обедали. Витя побежал на угол за шаурмой, а Зяма пока вымыла и нарезала помидоры и огурцы и поставила тарелки. Это был их любимый час, на это время они даже дверь запирали. Обжора Витя приговаривал, поворачивая ключ в замке:

50 — Явится еще, не приведи бог, Машиах — куска проглотить не даст...

Они уселись за письменный стол друг напротив друга, высыпали из кульков на тарелки кусочки жареной индюшатины, и Витя вдруг, как фокусник, достал и открыл банку пива.

— Ух ты! — обрадовалась Зяма. Она любила пиво.

— Гуляй, рванина, — сказал Витя. — Тетке пенсия пришла...

Первые дни она брезговала этим вечно лохматым, хамоватым толстяком с крошками в бороде. К тому же Витя оказался не только ярым безбожником, но и страшным богохульником. Зяма же — так сложились обстоятельства — разделяла молочное и мясное.

Когда — месяца через два — она поняла, что, пожалуй, может с ним работать и, пожалуй, привыкнет к нему, она принесла из дома кое-какую посуду и сказала:

— Вот этот нож, с белой рукояткой, будет у нас молочным. Вот этот, с красной — мясным.

— Зяма, а не пошла бы ты! — от души удивился Витя.

Но она, подняв над головой оба ножа, повторила терпеливо и ровно, как учат умственно отсталых детей различать цвета на картинках:

— Белый — молочный, красный — мясной.

...Зяма двумя пальцами придвинула к себе свежий номер «Интриги», прихваченный Витей на углу: там всегда печаталось продолжение очередного эротического романа Князя Серебряного...

— Слушай, его абсолютно не правят, — пробормотала она, пробегая глазами по строчкам, — «...огромная белая грудь вывалилась из ее прозрачного

пеньюара, — прочитала она брезгливым тоном, — я в жизни не видал такой груди!..»

— Он не видал, — продолжала она, раздражаясь, — в Дахау он такой груди не видал. В Дахау у женщин грудь сходила на нет... Интересно, а как относится к его художествам Ципи?

Жена Кугеля Ципи была женщиной строгой и тихой, хранительницей семейного очага.

— Ругается, — сказал Витя. Он с Кугелем знаком был давно, лет восемь. — Ругается, но как-то бессильно. Вот как подумаешь — зачем он балуется? Ведь ему, поди, уже и трахаться неинтересно.

— Ну как ты не понимаешь, — задумчиво проговорила Зяма, — он выжил. Его не уложили поперек чьих-то ног, и на него никого не положили, и не отправили в печь... Он выжил. И вот уже пятьдесят лет он кайфует. Просто радуется жизни. В частности, и таким образом...

После обеда, как обычно, их ждало еще одно удовольствие — полемическая статья Рона Каца на тему потерянных колен Израилевых.

Вот уже месяц этот безумный молодой ученый отбивался от журналиста газеты «Регион», историка Мишки Цукеса, вцепившегося в Рона Каца радостной бульдожьей хваткой.

Дело в том, что раз в несколько недель Рон Кац выдвигал новую научную теорию в области историко-этнических изысканий. Рон, безусловно, был сумасшедшим. Так считала Зяма. Но его статьи придавали газете известную пикантность, они вызывали ярость неподготовленного читателя, действовали на него как нервно-паралитический газ и носили — попеременно — то антисемитский, то русофобский характер.

52 Поэтому статьи Рона они давали под знаком вопроса и мелким шрифтом приписывали внизу, что мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.

Двадцатисемилетний Рон Кац был гением.

Он получал гранты от пяти университетов мира. В частности, от Берлинского университета имени Гумбольдта — для работы над книгой, в которой убедительно доказывал интеллектуальную неполноценность арийской расы. Время от времени его приглашали на очередной престижный конгресс, и он читал доклад, написанный им на языке той страны, где конгресс проходил. Иногда из щегольства он прибегал даже к тому или иному диалекту.

Он знал тридцать два языка. В том числе, например, амхарский — язык эфиопских евреев. Он мог свободно с ними беседовать, после чего публиковал в «Полдне» развернутую, абсолютно скандальную статью об особенностях жизни эфиопской общины Израиля. Причем заканчивал ее предупредительным залпом: «Надеюсь, ни у кого не повернется язык обвинить в расизме человека, взявшего на себя труд выучить язык эфиопских евреев?!» При этом мало кто мог себе представить, что учил он этот язык дня три. Ну пять...

Он знал все диалекты арабского, мог по нескольким фразам отличить сирийского араба от иорданского, читал арабские газеты, выходящие в Восточном Иерусалиме, и время от времени радовал мирного читателя «Полдня» выжимками из этих газет, истекающих ненавистью к «сионистскому образованию» — арабы, как известно, избегают называть имя еврейского государства.

Он знал язык с неприличным названием «мандейский». «А кто на нем говорит?» — спросила его од-

нажды Зяма, и Рон ответил кратко: «Мандеи», — после чего Зяма уже не задавала вопросов.

Время от времени Рон звонил к ней домой — поговорить о теме очередной статьи и вообще поболтать; обычно это случалось, когда Рону не спалось, часов в пять утра. Правда, он всегда при этом интересовался, не побеспокоил ли. До известной степени — при полном отсутствии общепринятых навыков поведения — Рон был довольно деликатным человеком.

— Я вот о чем подумал, — бодро говорил он, разбудив Зяму в пять часов двадцать минут утра. — Не плохо бы дать статью о том, что заговор сионских мудрецов существует в действительности.

— Рон, вы что — спятили?! — испуганно спрашивала Зяма, на шаривая кнопку ночника.

— Я берусь это доказать! — радостно выпаливал он. — Впрочем, не хотите — не надо. Можно и о другом. Я, например, располагаю доказательствами того, что абсолютно все русские государи были членами масонской ложи и тайно исповедовали иудаизм.

— Рон, подите на фиг...

— Как хотите... По крайней мере надеюсь, вы не струсите дать наконец исчерпывающую статью о том, что евреи расселялись по территории нынешней России гораздо раньше так называемого русского народа и говорили на одном из четырнадцати славянских языков до того, как на нем стали говорить славяне!

— Ну хорошо, — измученно соглашалась Зяма, — только, Рон, прошу вас — аргументированно!

Если еще добавить, что свои статьи Рон Кац почему-то подписывал псевдонимом Халил Фахрутдинов, можно себе представить, каким улюлюканьем встречали историки и журналисты «Региона» каждый его выход на страницы прессы, сколько писем при-

54 ходило в редакцию газеты «Полдень» от негодующих читателей и сколько шишек валилось на головы Зямы и Вити от главного редактора их газеты-мамы, господина Залмана Штыкгерголда.

— ...Ну вот, пожалуйста, — обескураженно проговорила Зяма, когда файл со статьей Каца открылся на экране компьютера, — «Киргизы — потерянное колено Израилево».

— Как! Ведь в прошлый раз он доказывал, что японцы — потерянные колена.

— Ну, видишь, он пишет — евреи прошли через Тянь-Шань, смешались с киргизскими племенами и вышли на территорию Японии... Представляешь, как сейчас на нас навалится Мишка Цукес!

— Пусть попробует! Мишке-то крыть нечем, он не знает древнекиргизского.

— Зато он историю знает.

— Но Кац же цитирует древнекиргизские «Хроники»: «И пришел на берег великого Иссык-Куля Иегуда с женами и рабынями, с множеством овец, и принес на берегу жертву Богу Ягве...»

— Да разве тогда киргизы были? — засомневалась Зяма.

— Что ж, «Хроники» были, а киргизов не было?

— Ну ладно, — сдалась Зяма. — Только, бога ради, ставь знак вопроса и эту приписку насчет «мнения не совпадают» дай более крупным шрифтом...

Часам к семи вечера наконец покончили с текстами. Сейчас Витя отвезет ее на своем апельсиновом «жигуле» к новой автостанции и вернется в редакцию — верстать всю ночь. Назавтра готовые полосы должны лежать на столе у господина Штыкгерголда.

— Ох, совсем забыл! Тебя разыскивает очередная старая перечница, — сказал Витя, переобуывая пляжные сандалики на туфли. — Кажется, опять по поводу деда. Включи автоответчик...

Сердце у Зямы заволновалось в торжественном предчувствии.

Время от времени ее отыскивали старухи, еще живые дедовы пассии.

Они натыкались на ее фамилию, набранную мелким шрифтом внизу, на первой полосе газеты — редактор Зиновия такая-то.

Звонили; страшно волнуясь, осторожно допытывались — имеет ли она отношение к Зиновию Соломоновичу такому-то. Ах, внучка?! Что вы говорите! Так бы хотелось взглянуть на вас одним глазком...

Она назначала встречу в кафе «На высотах Синая», угощала «угой». Любопытно, что все старухи, не зная иврита, пирог тем не менее называли «угой». Вероятно, это слово в их склеротическом воображении ассоциировалось с русским словом «угощение».

Каждая рассказывала о деде что-нибудь новенькое, лихое, сногшибательное, часто — малопрстойное, а порой и ни в какие ворота не прущее... Слушая их, Зяма испытывала прямо-таки наслаждение, счастье, восторг.

Она включила автоответчик. После сигнала несколько мгновений покашливали, прочистили горло, вероятно, сплюнули в салфеточку и наконец, увязая языком во вставных челюстях, старческий голос аккуратно и торжественно произнес:

— Уважаемая госпожа редактор! Интересуюсь — или вы имеете отношение к Зиновию Соломоновичу, одной с вами фамилии. Если у вас будет желание

56 поговорить с его старинной знакомой, то позвоните мне...

Дважды твердо диктует номер...

Ах ты, милая моя! «Уважаемая госпожа редактор!» Наверняка написала сначала на бумажке, тренировалась, выучила, зубы мешают...

Итак, очередная возлюбленная деда Зямы. Сколько ж тебе лет, возлюбленная? Ведь деду было бы... стоп! Деду, шутки шутками, было бы девяносто пять... Впрочем, он всегда любил юных. Код иерусалимский, значит — «На высотах Синая»...

Зяма набрала продиктованный старухой номер, и та сразу взяла трубку.

Да-да, она имеет отношение к Зиновию Соломоновичу, она его единственная внучка. (Хотела сказать «законная», но сдержалась.) Конечно, что ж мы по телефону-то! Рада буду встретиться с вами. Например, в кафе. Да вы знаете, это в центре — «На высотах Синая». Отлично... отлично... Ат-лич-на!.. Значит, завтра, в пять... А я — шатенка. Да вы меня опознаете: я очень похожа на деда...

— ...Ну и ходок был твой дедуля! — заметил Витя, заводя машину.

— Да! — с гордостью ответила Зяма. — Он не пропускал ни одной стоящей юбки!

Они медленно ехали по улицам Южного Тель-Авива. Всюду копали, меняли коммуникации, приходилось объезжать. Иногда минуты на три застревали в пробках.

На углу улицы Негев они медленно проехали мимо двух пожилых обрюзгших проституток с разрушенными лицами.

— Ветераны большого минета, — уважительно заметил Витя. 57

Подкатив к автостанции с улицы Левински — ко входу на четвертый этаж этого гигантского сооружения, — он сказал привычно:

— Как подумаю — на какие рога ты едешь, живот сводит... Когда уже ты купишь нормальную квартиру в нормальном месте?

— Никогда, — привычно ответила она, выбираясь из машины, — мне там нравится.

Она лгала. Ей совсем не нравилось то, как она живет последние четыре года...

4

«...Обнаженная писательница N. лежала в горячих струях воздуха, которые гнал на нее большой вентилятор...»

Омерзительно...

«Обнаженная писательница N. лежала под горячей струей воздуха от вращающегося вентилятора...»

Того хуже...

«Обнаженная писательница N...»

Да ну ее к черту — обнаженную! «Голая писательница N. лежала под вентилятором». Вот и все.

Так что голая писательница, и надо сказать — известная писательница, действительно лежала под вентилятором, который с японской вежливостью крутился, кланялся, усердствовал в максимальном режиме, но в этот чудовищный хамсин не спасал ни на копейку. (А влетит в копеечку, вяло подумала она, мало не покажется. Навязчивые мысли о счетах за все муниципальные блага этой паршивой цивилизации, приходящих с регулярностью месячных, в последнее время изрядно отравляли ее жизнь.)

Детей, слава богу, дома не было. Старший сын, солдат, к облегчению всей семьи, был заперт на военной базе, где несчастные инструктора пытались обучить его вождению армейских грузовиков. Младший, первоклассник, — в школе. Не бог весть что за Царскосельский лицей, но забирают щедро сердце кровью от подъезда и возвращают к пяти в полной сохранности. Это ли не счастье...

По поводу счастья: надо бы спросить у Доктора, что стоит попить, когда жить не очень хочется. Пусть пропишет какой-нибудь «ва-бен» — говорят, успокаивает и мягко действует, без побочных эффектов, вроде чувства ватного обалдения во всех членах. Н-да-с, а затем на террасе у Сашки Рабиновича, попивая сухого и шелкая орешки в тесном кругу приятных людей, Доктор скажет, ласково жмурясь:

— А вот у меня была пациентка... — и, водрузив загорелые ноги на ближайший пластиковый стул, перескажет — конечно же, в третьем лице и без имени собственного, он человек порядочный, — все ее излияния. Благодарю покорно...

Ведущий специалист по излечению депрессивных синдромов, Доктор, говорят, составил некую анкетку, вопросов сорок, не больше, — кроткие такие вопросы по части «не желаете ли повеситься?», и подсовывает ее для чистосердечных признаний близживущему люду. Потом систематизирует ответы и пишет докторат на тему «Большая алия и суицидальный синдром». Или как-нибудь по-другому. Что ж, бог в помощь, материал вокруг богатый, каждый уж как-нибудь комплексом да щегольнет.

Взять, к примеру, Севу. Необыкновенно удачливый бизнесмен, Сева расцвел свою жизнь своеобразным занятием — периодически он кончает

жизнь самоубийством. Неудачно. Не везет человеку: прыгнул с четвертого этажа — сломал ногу и ключицу, повесился — его вынули из петли. Уже на памяти писательницы Н. он стрелялся. Пуля прошла в сантиметре от сердца, пробила легкие... Вылечили. В годы Большой алии затеял большой бизнес с Россией, невероятно преуспел, в связи с чем покончил жизнь самоубийством. Но опять неудачно: открыл газ и уже стал успешно угорать, как в колонке этот самый газ и кончился. Похоже, на небесах не горят желанием встретиться с этим идиотом.

Сейчас он процветает. Живет там — здесь — там. Часто наезжает прикупить еще какой-нибудь автомобиль, или квартиру, или ломтик промзоны где-нибудь на территориях для строительства небольшого заводика. Свечного. Нет, кроме шуток, — свечного. Возжигание субботних свечей — не последнее дело на этой земле. Но никак, бедняга, не может выкарабкаться из депрессий. Поздравишь его с покупкой виллы, а он отвечает злорадно:

— Все равно все сдохнем!

Конечно сдохнем, дорогой. Но к чему полномочия-то превышать? К чему суетиться, начальству дорогу забегать, в глаза ему заглядывать? Когда о нас вспомнят, тогда на доклад-то и вызовут. И вломят, можешь не сомневаться, ох как вломят...

Так что — нет, дорогие друзья и благодарные читатели, — никаких анкеток. Я совершенно нормальна, спокойна и хорошо воспитана.

На пороге появился муж и, увидев изможденную жарой голую супругу, изобразил на лице оторопь человека, открывшего служебную дверь и за нею заставшего...

— Вах! Какой сюрприз!

В нем погибает неплохой комедийный актер. Какой там «вах!» — и он еле ползает от жары. Да еще на ногах, бедняга, целый день, за мольбертом.

И это чугунное оцепенение тела, вязкость мыслей и полное отсутствие каких-либо желаний он называет жизнью на Святой земле.

Ну, положим, этот банный кошмар длится не 365 дней в году. А зимний многодневный проливень — не хотите ли, — под которым протекают все без исключения крыши всех строений — от паршивого курятника где-нибудь на задворках Петах-Тиквы до небоскреба отеля «Холлидей ин». Выскакиваешь из подъезда, заворачиваешь за угол, вбегаешь под стеклянный навес остановки — и ты уже насквозь пропитан холодной тяжелой водой, вымочен, как белье в тазу. Тропическая лавина, водопад, под которым смешна и бесполезна обычная осенняя одежда — эти жалкие плащи, дождевые куртки с капюшонами, резиновые сапоги... И хочется либо залезть в скафандр водолаза, либо уж раздеться догола и слиться с водами мирового потопа от неба до земли... Недаром это слово в древнееврейском существует только во множественном числе — воды, воды... «Объяли меня воды до души моей...»

Но и дождь, и душу вышибающий ветер, выламывающий ребра зонтов, выдувающий тепло даже изо рта и слезящихся глаз, вспоминаются сейчас как спасение...

Голая писательница N. тяжело поднялась, села, пережидая, пока пройдут головокружение и колотья в левом виске, возникшие от перемены положения тела, наконец поднялась и на ватных ногах потащи-лась под душ.

Ну что это, ну как этот ад называется на человеческом языке — перепады давления? магнитные бури?

сужение сосудов? приближение смерти? старость, наконец? дряблая рыхлая старость в сорок лет — Господи, когда начнется похолодание! Черт с ней — старостью и смертью, смерть по крайней мере избавит от этого натирающего горб ярма — ежеутреннего, едва сознание нащупывает тропинки в пробуждающемся мозгу, почти мышечного уже сигнала: работать. Встать, принять душ, вылакать свой кофе и сесть за работу — инстинкт, условный рефлекс, привычка цирковой лошади, бегающей по кругу под шелканье бича... Хорошие стихи попались когда-то в юности в куцей книжице молоденькой (забыла, конечно, имя) поэтессы: «А мы сидим в затылочек друг другу, И не понятно — что это такое... А эта лошадь бегаёт по кругу. Покинув состояние покоя...»

Голая писательница N. печаталась давно, с пятнадцати лет, так сложились обстоятельства. Кстати, для своей первой полудетской публикации в популярном (и тиражном — о, никому из нынешних издателей и не снился размах бывшего советского Вавилона — трехмиллионный тираж!) московском журнале она прислала свою пляжную фотографию: подросток, костлявая дурочка — полоска лифчика, полоска трусов, размер сатинового купальника, помнится, тридцать шестой, «детскомировский». Разумеется, на фотографии она отрезала и в журнал прислала только голову с плечами, якобы вырез такой у сарафана...

К ее изумлению, рассказик был напечатан в пристойном школьном воротничке. То есть к ее детской шейке пририсовали школьный воротничок. Так что голая писательница N. с отрочества узнала некую истину: голых писателей не бывает. Живых, по крайней мере. Их заголяют после смерти, вытряхивая из фиго-

62 вых листочков писем и дневников. (Истеричные эксгибиционисты, трясущие перед читателем неопрятными гениталиями, конечно, в счет не идут, оставим творческие оргии содомян ведомству наивысшей инстанции.)

А хрен вам, подумала она, стоя под вялым душем и тяжело поворачиваясь, ни единого интимного письма, ни записочки вы от меня не унаследуете...

Дневников она не писала даже в доверчивой эгоцентричной юности. Что за разговоры с собой? Что за договоры с самим собой, что за условия самому себе, что за бред? Нормальный человек сам с собой не беседует...

Она была абсолютно нормальным человеком... В общепринятом смысле, конечно. Как говорит Доктор — ну что вы заладили, батенька, — сумасшедший он, сумасшедший... Может, он и сумасшедший, но ведь мыла-то не ест?.. Мыла она не ела. Но втайне за любым писателем, и за собой в том числе, оставляла право на некоторые — не извращения, зачем же, и не отклонения, а, скажем так, — изыски психики.

Да взять хоть вчера.

На террасе у Сашки Рабиновича они, как обычно, наслаждались вечерним ветерком из Иерусалима, расслабленно перебрасываясь замечаниями и лузгая тыквенные семечки, которыми торгует рыжая сушеная Яффа в своем паршивом мини-маркете. Сангвиник Рабинович вернулся на днях из Праги, где он пытался наладить какой-то очередной утопический бизнес...

— Нам всем надо скорей перебраться в Прагу — говорил он, бодро лузгая семечки. — И язык родственный. «Жопа» по-чешски будет «сруля», так что база языка уже есть...